

Б.В. Савинков

ВОСПОМИНАНИЯ ТЕРРОРИСТА



• ОКАЯННЫЕ ДНИ •

Окаянные дни (Вече)

Борис Савинков

Воспоминания террориста

«ВЕЧЕ»

2016

Савинков Б. В.

Воспоминания террориста / Б. В. Савинков — «ВЕЧЕ»,
2016 — (Окаянные дни (Вече))

ISBN 978-5-4444-8683-2

Борис Савинков – один из самых эксцентричных людей эпохи русской смуты: он пламенный революционер и непримиримый борец с большевиками, комиссар Временного правительства и союзник Врангеля. В своих воспоминаниях Б.В. Савинков рассказывает о событиях в России начала XX в. – о своем революционном прошлом и участии в террористических актах. Большое внимание уделяется различным методам борьбы царской полиции с революционными выступлениями.

ISBN 978-5-4444-8683-2

© Савинков Б. В., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	9
Глава первая. Убийство Плеве	9
I	9
II	11
III	15
IV	17
V	20
VI	22
VII	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Б.В. Савинков
Воспоминания террориста

© ООО «Издательство „Вече“», 2016

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2016

Предисловие

К изданию «Воспоминаний террориста» 1928 года

Воспоминания Савинкова... Воспоминания человека, который от марксизма перебрался к «традициям» «Народной Воли», притом в его узком понимании этой партии, как воплощения идеи террористической борьбы. Благодаря такому пониманию стал социалистом-революционером, причем, будучи членом этой партии, признавал только боевую организацию, только боевые действия... А затем, с этого чалого коня перешел на «белого», затем на «вороного», чтобы в конце своего жизненного пути вновь ударить себя в грудь и публично заявить: «Я ошибался».

Ошибался ли он? Личная ли это ошибка или неизбежное истеричное шатание из стороны в сторону представителя мелкобуржуазной среды, того класса, который обречен на гибель в великой борьбе труда с капиталом и в поисках спасения мечущегося и перекидывающегося то на сторону труда, то на сторону капитала?

Савинков типичен для этой среды. На мрачном фоне самодержавно-феодального строя, он, если не объективно, то субъективно революционер, но «революционер» особенный, «революционер», просмотревший первые громы революции, не понимавший движения масс, не веривший в массы, противопоставлявший единичный террор движению масс, видевший возможность победы только путем террора, возводивший террор в принцип и ради осуществления террористического акта готовый поступиться всем – и партией, и ее программой, и даже тем, что считал своим «святая святых», – патриотизмом.

Весьма характерен следующий маленький отрывок из воспоминаний.

Член финской партии Активного Сопротивления журналист Жонни Циллиакус сообщил центральному комитету (партии с.-р.), «что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров (!!) в размере миллиона франков, причем американцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых, пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены между всеми революционными партиями без различия программ».

К этому сообщению в выноске Савинков добавляет: «Впоследствии в „Новом Времени“ появилось известие, что пожертвование это было сделано не американцами, а японским правительством. Жонни Циллиакус опровергал это, и центральный комитет не имел оснований отнестись с недоверием к его словам». И только... Сам Савинков, с пеной у рта кликушествовавший вместе со своими соратниками о «германских деньгах», причем весь этот навет был сознательно ими сочинен, по поводу этого миллиона франков даже не побеспокоился проверить, чем, в самом деле, обусловлена эта щедрость американцев, ныне, как известно, отпускающих миллионы на поддержку не русского народа, а Романовых.

Это лишь один, но очень характерный штрих... «Все для террора» – вот Савинковское знамя первого периода его деятельности. Все на благо, что на потребу боевой организации. Максималисты и анархисты – раз они «за бомбу» – желанные члены этой организации. С программой партии можно не соглашаться, идейно можно расходиться, достаточно признавать бомбу – вот идеология Савинковых.

И неудивительно, что, когда грянули громы первой революции, когда в бой двинулись массы, Савинковы должны были оказаться не у дел; их не менее, чем тех, против которых они боролись, запугало это выступление масс, и они, отвергнутые историей, не понимая грандиозности происшедшего сдвига, предались «самоанализу», перебрались на ту сторону баррикад, скатываясь по наклонной плоскости все глубже и глубже в грязную пропасть белогвардейщины.

Печатаемые ныне «Воспоминания» Савинкова относятся к первому «героическому» периоду его деятельности. Но они написаны значительно позже, уже тогда, когда Савинков

окончательно перешел в стан «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови». При чтении его «Воспоминаний» это необходимо иметь в виду и ко многим его характеристикам относиться критически. Во многих случаях Савинков наделяет описываемых им лиц своими личными чертами.

О Каляеве он говорит: «К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и *моральную*, быть может, *религиозную жертву*». (Выделено мною. – Ф.К.) «Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. С.-р. без бомбы уже не с.-р.»

Перейдем к другим. Дора Бриллиант. «Террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всего той жертвой, которую приносит террорист. Вопросы программы ее не интересовали. Террор для нее олицетворял революцию и весь мир был замкнут в боевой организации».

Егор Сазонов. (В других источниках – Созонов. – Ред.) «Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом».

Сазонова наделять личными чертами Савинкова труднее. Ему нельзя, как Доре Бриллиант, вложить в уста слова: «Я должен умереть». Поэтому Савинков признает: «Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, Сазонов не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему „не убий“». Но хотя эти вопросы и бледнели, но не для Савинкова.

– Скажите, – спрашивает он Сазонова, – как вы думаете, что будем мы чувствовать после... после убийства?

– Гордость и радость, – не задумываясь ответил Сазонов.

– Только?

– Конечно только.

Савинков на этом успокоиться не может и добавляет:

«Сазонов впоследствии мне написал с каторги: „Сознание греха никогда не покидало меня“».

Уже в этом отрывке «достоевщина», присущая Савинкову, четко выступает наружу. Но это цветочки, а вот и ягодки. «В момент убийства великого князя Сергея Дора (Бриллиант) наклонилась ко мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала. Все ее тело сотрясали глухие рыдания. Я старался ее успокоить, но она плакала еще громче и повторяла: „Это мы его убили... Я его убила... Я...“

– Кого? – переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

– Великого князя...»

А вот Леонтьева. «Она, – сообщает Савинков, – участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, – с радостным сознанием большой и светлой жертвы».

Еще характернее в освещении Савинкова Бенеvская, верующая христианка, ради спасения души признававшая террор.

Таких характеристик у Савинкова многое множество. И, конечно, они не верны. Савинков, кого может, наделяет своими чертами периода своего упадка. Кого может. Но может не всех. Савинковских черт не приписать сормовскому рабочему Назарову, который на все вопросы Савинкова заявил: «По-моему, нужно бомбой их всех. Нету правды на свете. Вот во время восстаний сколько народу убили, дети по миру бродят... Неужели еще терпеть? Ну и терпи, если хочешь, а я не могу»...

Назаровы могут ошибаться, но, даже идя по ложному пути, они ничего общего с савинковщиной не имеют, им ее не привить.

Но, приписывая свои черты определенным лицам и этим греша против этих лиц, Савинков в своих «Воспоминаниях» верно отражает черты мечущейся из стороны в сторону мелко-

буржуазной среды: «С.-р. без бомбы уже не с.-р.». А начавшаяся массовая революция отменяла единственный террор. Савинковы очутились на мели. Они революции без бомб не признавали. «Неожиданное выступление петербургских рабочих со священником во главе действительно давало иллюзию (!!) начавшейся революции». Для них это была иллюзия. Только иллюзия. Почему? «Я плохо верил, – говорит Савинков, – в революционный подъем рабочих масс».

«Плохо верил»... А когда двенадцать лет спустя рабочие массы заставили его «хорошо поверить», он направил свое оружие против них, пошел с белыми, брал от западноевропейских демократов деньги на убийство Ленина...

Савинков посвятил свои «Воспоминания» первому эсэровскому периоду своей деятельности. С ними стоит познакомиться, их следует читать. Они освещают, помимо воли автора, тот период, когда партия с.-р. еще не была той «ручной» партией, за спиной которой в момент революционного выступления масс пряталась вся черная реакция, но когда, несмотря на героизм отдельных лиц, все данные для того, чтобы стать таковой, уже были налицо. И не потому, что субъективно тот или другой член партии с.-р. собирался изменить рабочим массам, а по своей мелкобуржуазной сущности. «Рожденный ползать летать не может». Партия, не стоящая на почве революционного марксизма, партия, не сознающая исторической миссии пролетариата и потому не верящая в его революционность, могла героически бороться с самодержавием, как врагом среды, интересы которой она защищала. Но в момент революции, когда со стороны пролетариата этой мелкобуржуазной среде грозила опасность, она должна была выявить свой подлинный облик. Истинные революционеры в лице М.А. Натансона, Устинова и других отшатнулись от нее и примкнули к коммунистическому движению, а партия с.-р. пошла к Колчакам, Деникиным, Юденичам.

С.-р. отшатнулись от Савинкова. Напрасно. Он лишь откровеннее и прямолинейнее. Но он с.-р., до мозга костей с.-р. Таким он выступает и в своих «Воспоминаниях», и это придает цену этим «Воспоминаниям».

Феликс Кон

Часть первая

Глава первая. Убийство Плеве

I

В начале 1902 года я был административным порядком сослан в г. Вологду по делу с. – петербургских социал-демократических групп «Социалист» и «Рабочее Знамя». Социал-демократическая программа меня давно уже не удовлетворяла. Мне казалось, что она не отвечает условиям русской жизни: оставляет аграрный вопрос открытым. Кроме того, в вопросе террористической борьбы я склонялся к традициям «Народной Воли».

В Вологду дважды – осенью 1902 г. и весной 1903 г. – приезжала Е.К. Брешковская. После свиданий с нею я примкнул к партии социалистов-революционеров, а после ареста Г.А. Гершуни (май 1903 г.) решил принять участие в терроре. К этому же решению, одновременно со мною, пришли двое моих товарищей, а также близкий мне с детства Иван Платонович Каляев, отбывавший тогда полицейский надзор в Ярославле.

В июне 1903 г. я бежал за границу. Я приехал в Архангельск и, оставив свой чемодан на вокзале, явился по данному мне в Вологде адресу. Я надеялся получить подробные указания, как и на каком пароходе можно уехать в Норвегию. Из разговора выяснилось, что в тот же день через час отходит из Архангельска в норвежский порт Вардэ мурманский пароход «Император Николай I». У меня не было времени возвращаться на вокзал за вещами, и я, как был, без паспорта и вещей, незаметно прошел в каюту второго класса.

На пятые сутки пароход входил в Варангер-фиорд. Я подошел к младшему штурману.

– Я еду в Печенгу (последнее перед норвежской границей русское становище), но мне хотелось бы побывать в Вардэ. Можно это устроить?

Штурман внимательно посмотрел на меня.

– Вы что же, по рыбной части?

– По рыбной.

– Что же, конечно, можно. Почему же нельзя?

– У меня паспорта заграничного нет.

– Зачем вам паспорт? Сойдите на берег, переночуйте у нас, и на рассвете обратным рейсом в Печенгу. Только билет купите.

На следующий день показались маяки Вардэ. На пароход поднялись чиновники норвежской таможни. Я сошел в шлюпку и через четверть часа был уже на территории Норвегии. Из Вардэ, через Тронтгейм, Христианию и Антверпен я приехал в Женеву.

В Женеве я познакомился с Михаилом Рафаиловичем Гоцем. Невысокого роста, худощавый, с черной вьющейся бородой и бледным лицом, он останавливал на себе внимание своими юношескими, горячими и живыми глазами. Увидев меня, он сказал:

– Вы хотите принять участие в терроре?

– Да.

– Только в терроре?

– Да.

– Почему же не в общей работе?

Я сказал, что террору придаю решающее значение, но что я в полном распоряжении центрального комитета и готов работать в любом из партийных предприятий.

Гоц внимательно слушал. Наконец, он сказал:

– Я еще не могу дать вам ответ. Подождите, – поживите в Женеве.

Тогда же я познакомился с Николаем Ивановичем Блиновым (убит в 1905 г. в Житомире, защищая во время погрома евреев) и Алексеем Дмитриевичем Покотиловым. Я знал, что оба они – бывшие студенты Киевского университета и близкие товарищи С.В. Балмашева, но я не знал, что они члены боевой организации. Покотилова я встречал еще в Петербурге в январе 1901 г. Он приехал в Петербург независимо от П.В. Карповича и даже не подозревая о приезде последнего, но с той же целью – убить Боголепова. В Петербурге он обратился за помощью в комитет группы «Социалист» и «Рабочее Знамя». Мы отнеслись к его просьбе с недоверием и в помощи отказали. Убийство министра народного просвещения казалось тогда нам ненужным и едва ли возможным. Покотиллов после отказа не уехал из Петербурга. Он решил своими силами и на свой страх совершить покушение. Случайно Карпович предупредил его.

В августе в Женеву приехал один из товарищей. Он сообщил мне, что Каляев отбывает приговор (месяц тюремного заключения) в Ярославле, и поэтому только поздней осенью выезжает за границу. Товарищ поселился со мною. Чтобы не обратить на себя внимание полиции, мы жили уединенно, в стороне от русской колонии.

Изредка посещала нас Брешковская.

Однажды днем, когда товарища не было дома, к нам в комнату вошел человек лет тридцати трех, очень полный, с широким, равнодушным, точно налитым камнем, лицом, с большими карими глазами. Это был Евгений Филиппович Азеф.

Он протянул мне руку, сел и сказал, лениво роняя слова:

– Мне сказали, – вы хотите работать в терроре? Почему именно в терроре?

Я повторил ему то, что сказал раньше Гоцу. Я сказал также, что считаю убийство Плеве важнейшей задачей момента. Мой собеседник слушал все так же лениво и не отвечал. Наконец, он спросил:

– У вас есть товарищи?

Я назвал Каляева и еще двоих. Я сообщил их подробные биографии и дал характеристику каждого. Азеф выслушал молча и стал прощаться.

Он приходил к нам несколько раз, говорил мало и внимательно слушал. Однажды он сказал:

– Пора ехать в Россию. Уезжайте с товарищем куда-нибудь из Женевы, поживите где-нибудь в маленьком городке и проверьте, – не следят ли за вами.

На следующий день мы уехали в Баден, во Фрейбург. Через две недели нас посетил Азеф и на этот раз впервые сообщил план покушения, не упоминая ни словом о личном составе организации. План состоял в следующем: было известно, что Плеве живет в здании Департамента полиции (Фонтанка, 16) и еженедельно ездит с докладом к царю, в Зимний дворец, в Царское Село или в Петергоф, смотря по времени года и по местопребыванию царя. Так как убить Плеве у него на дому, очевидно, было много труднее, чем на улице, то было решено учредить за ним постоянное наблюдение. Наблюдение это имело целью выяснить в точности день и час, маршрут и внешний вид выездов Плеве. По установлении этих данных предполагалось взорвать его карету на улице бомбой. При строгой охране министра для наблюдения необходимы были люди, по роду своих занятий целый день находящиеся на улице, например, газетчики, извозчики, торговцы в разнос и т. п. Было решено поэтому, что один товарищ купит пролетку и лошадь и устроится в Петербурге легковым извозчиком, а другой возьмет патент на продажу в разнос табачных изделий и, продавая на улице папиросы, будет следить за Плеве. Я должен был комбинировать собираемые ими сведения и, по возможности, наблюдая сам, руководить наблюдением.

План этот принадлежал целиком Азефу и был чрезвычайно прост. Но именно своей простотой он давал нам преимущество перед полицией. Уличное наблюдение никогда не применялось революционерами не только в период Гершуни, но и во времена «Народной Воли», если

не считать приготовлений к первому марта 1881 г. Полиция едва ли могла предположить, что члены боевой организации ездят по Петербургу извозчиками или торгуют в разнос. Между тем систематическое наблюдение неизбежно приводило к убийству Плеве на улице. Кончая со мной разговор, Азеф сказал с убеждением:

– Если не будет провокации, Плеве будет убит.

Из Фрейбурга один из товарищей, взяв с собой гремучую ртуть, через Александрово уехал в Россию. У меня не было паспорта, и я должен был получить его в Кракове. Я поехал в Краков через Берлин и в Берлине встретился снова с Азефом и только что приехавшим из России Каляевым.

Мы сидели втроем на Leipzigerstrasse в одном из больших берлинских кафе. Каляев горячо говорил о терроре, о своем непременном желании участвовать в деле Плеве, о психической невозможности для себя мирной работы. Азеф лениво слушал. Когда Каляев умолк, он равнодушно сказал:

– Нам не нужны сейчас люди. Поезжайте в Женеву. Может быть, мы потом и вызовем вас.

Огорченный Каляев ушел. Я спросил Азефа:

– Он не понравился вам?

Азеф подумал с минуту.

– Нет. Но он странный какой-то... Вы его знаете хорошо?

На улице, сердясь и волнуясь, меня ждал Каляев. Я взял его под руку.

– Что ты, Янек?... Он не понравился тебе? Да?

Как и Азеф, Каляев ответил не сразу:

– Нет... Но знаешь... Я не понял его, может быть, не пойму никогда.

В начале ноября я был в Петербурге, не зная ни состава организации, ни партийных паролей, ни явок. Я ждал Азефа: он обещал приехать непосредственно вслед за мной.

II

В Петербурге я остановился в Северной гостинице. В тот же день вечером я пошел на явку к раньше уехавшему товарищу. Он должен был ждать меня ежедневно на Садовой, от Невского до Гороховой. Я шел по Садовой, отыскивая в пестрой толпе разносчиков знакомое мне лицо. Чем дальше я шел, тем все менее оставалось надежды на встречу. Я думал уже, что товарища нет в Петербурге, что он либо арестован на границе, либо не сумел устроиться торговцем. Вдруг чей-то голос окликнул меня:

– Барин, купите «Голубку», пять копеек десяток.

Я оглянулся. В белом фартуке, в полушубке и картузе, небритый, осунувшийся и побледневший, предо мной стоял тот, кого я искал. На плечах у него висел лоток с папиросами, спичками, кошельками и разной мелочью. Я подошел к нему и, выбирая товар, успел шепотом назначить свидание в трактире.

Часа через два мы сидели с ним в грязном трактире, недалеко от Сенной. Он оставил дома лоток, но был в том же полушубке и картузе. Разговаривая с ним, я долго не мог привыкнуть к этой новой для меня его одежде.

Он рассказал мне, что другой товарищ уже извозчик, что они оба следят за домом министра и что однажды им удалось увидеть его карету. Он тут же описал мне внешний вид выезда Плеве: вороные кони, кучер с медалями на груди, ливрейный лакей на козлах и сзади – охрана: двое сыщиков на вороном рысаке. Товарищ был доволен удачей, но жаловался на трудности своего положения.

– Стою я у Цепного моста, – рассказывал он мне, – жду. Вижу, городской таращит глаза. Я шапку снял, поклонился низко и говорю: ваше, говорю, благородие, дозволейте спросить, кто в этих хоромах живет, уж не сам ли, говорю, царь, очень уж много начальства всякого при

дверях? – Посмотрел на меня городской сверху, усмехнулся. – Дурак, говорит, деревня... Что ты можешь, говорит, понимать? Это министр тут живет. – Министр? – говорю, – это, значит, который генерал главный? – Дурак, министр и значит министр... Понял? – Так точно, говорю, понял. Что же, говорю, очень богатый, значит, министр? Тысяч, чай, сотню в год получает? – Опять улыбнулся городской, говорит: «Дурак... эка сказал: сто тысяч... подымай выше, – миллион...» А тут гляжу, как раз зашевелились шпики, подают карету к подъезду, значит, Плеве поедет. Городской говорит: – Ну, ну, проваливай, говорит, сукин сын, нечего здесь болтаться... – Я за мост зашел, стою, будто бы лоток поправляю, а между тем смотрю: Плеве едет... А то еще случай был: конный городской как-то меня заметил. – Ты, говорит, что тут делаешь, сукин сын?... Пошел вон, говорит. – Простите, говорю, ваше благородие, так что здесь очень весело торговля идет... – Ка-ак он закричит: «Разговаривать!.. Дворник!.. В участок его веди!..» Подскочил тут дворник с поста: идем, говорит... Пошли. За угол завернулись, я вынул целковый и говорю: возьмите, будьте добры, господин дворник, в знак уважения, и отпустите меня, Христа ради, я человек, говорю, маленький, долго ль меня обидеть?... – Дворник глянул на рубль, потом на меня. Рубль взял и говорит: «Ну иди, сукин сын, да смотри: будешь еще в участке...»

Он рассказал мне еще, что положение табачника затрудняется не только преследованием полиции, но и конкуренцией других торговцев. Места на улице все откуплены, и приходится спорить с теми, кто издавна занимает их. Кроме того, торговец в разнос не имеет права останавливаться на мостовой: по полицейским правилам, он обязан непрерывно находиться в движении. Он говорил, что наблюдать извозчику удобнее и легче. Он ссылаясь на пример другого товарища, который почти не встречал препятствий в своей езде по городу. Я повидался с последним и убедился, что у извозчика есть зато другая существенная помеха: у него была большая лошадь, и из трех дней два он не мог выезжать. Кроме того, ему постоянно приходилось возить седоков. Его наблюдение поэтому не давало почти никаких результатов.

Наступил декабрь, а от Азефа не было никаких известий. Впоследствии выяснилось, что его задержали за границей дела по динамитной технике, письма же его ко мне не доходили по неточности адреса. Один товарищ продолжал следить, как табачник, другой – как извозчик. Я бродил по Фонтанке и набережной Невы, надеясь встретить случайно Плеве. Наше общее наблюдение отметило только внешний вид его выезда и однажды маршрут: он ехал по Фонтанке и набережной Невы, по направлению к Дворцовому мосту, но в Зимний дворец или Мариинский – выяснить не могли.

Причины отсутствия и молчания Азефа были нам неизвестны. Я решил поэтому навести справку. Я вспомнил, что Азеф указал мне в Петербурге известного журналиста Х. К нему я должен был в крайнем случае обратиться за помощью. Х. выслушал меня с удивлением.

– Я давно ничего не знаю об Азефе, – сказал он, – и помочь вам ничем не могу.

Я вернулся домой в нерешительности. Я колебался, продолжать ли мне наблюдение с помощью двух товарищей, сил которых было, очевидно, для него недостаточно, или поехать за границу и посоветоваться о положении дел с Гоцем. Я съездил в Вильно по порученным мне Азефом общепартийным делам и, вернувшись в первой половине декабря в Петербург, остановился в меблированных комнатах «Россия», на Мойке. Хотя известий от Азефа все еще не было никаких, я все-таки решил ожидать его в Петербурге. Неожиданный случай изменил это мое решение.

Однажды утром дверь моего номера слегка приоткрылась, в щель просунулась голова, затем голова исчезла, и уж после этого ко мне постучались.

– Войдите.

Вошел еврей лет сорока, в потертом сюртуке, грязный, с бегающими глазами. Он протянул мне руку и сказал:

– Здравствуйте, г-н Семашко.

Я с удивлением смотрел на него. Помолчав, он сказал:

– Я виленец: тоже приехал из Вильно.

Я понял, что он мог знать о моем, именно из Вильно, приезде, либо наблюдая за мной по дороге, либо увидев мой паспорт с виленской свежей явкой. Но паспорт мой был в конторе, и показать его швейцар мог только полиции. Я был убежден поэтому, что предо мной шпион.

– Садитесь. Что вам угодно?

Он сел за стол, спиной к окну. Мне оставалось сесть лицом к свету. Он положил голову на руку и, улыбаясь, пристально разглядывал меня. Я повторил свой вопрос.

– Что вам угодно?

В ответ он сказал, что его фамилия Гашкес, что он редактор-издатель торговой, промышленной и финансовой газеты, и что он просит меня сотрудничать у него. Тогда я резко сказал:

– Я не писатель. Я представитель торговой фирмы.

– Что значит вы не писатель? Что значит представитель торговой фирмы? Ну, какой фирмы вы представитель?

Я встал.

– Извините меня, г-н Гашкес, я ничем полезен вам быть не могу.

Он вышел; вслед за ним вышел и я.

На улице, у витрины ювелирного магазина, стоял Гашкес и рассматривал со вниманием ювелирный товар. Поодаль два молодца в высоких сапогах и каракулевыми шапками также внимательно разглядывали в окне дамские платья.

Я повернул направо, на Гашкеса. Он отделился от магазина и, улыбаясь, пошел за мной. Я взял извозчика. Он немедленно сел на другого. Я понял, что меня арестуют.

Более трех часов я бродил по Петербургу, с извозчика на извозчика, с конки на конку.

Под вечер я очутился далеко за Невской заставой среди огородов и пустырей. Кругом не было ни души. Я решил сообщить товарищам о происшедшем и не возвращаться более к себе в номера. Я решил также не ожидать больше Азефа: паспорт Семашки был, очевидно, известен полиции, другого у меня не было, жить же без паспорта неопределенное время было трудно. Я пошел на Садовую и на ходу сказал товарищу, что за мной следят. С вечерним поездом я выехал в Киев.

Я поехал в Киев, потому что только в Киеве надеялся найти партийных людей и получить возможность выехать за границу. Через одного личного приятеля я разыскал в Киеве представителя К. Тот устроил меня на той же конспиративной квартире, на которой ночевал и сам. В первый же вечер туда пришел один рабочий, нелегальный. По целым дням он молчал, не принимая никакого участия ни в каких разговорах. Позднее, и не от него, я узнал, что он участвовал в одном крупном провинциальном террористическом акте, был ранен, обливаясь кровью, успел дотащиться до своей квартиры. Он тоже ехал теперь за границу. Мы решили с ним ехать вместе.

В начале января мы выехали из Киева в Сувалки. В Сувалках у нашего нового товарища была знакомая еврейка, с помощью которой можно было без паспорта перейти границу. Увидев нас, она немедленно привела фактора, и мы, заплатив ему каждый по 13 руб., в тот же вечер тряслись на еврейской балагуле по направлению к немецкой границе. Переночевав на указанной фактором мельнице, мы на следующую ночь, в сопровождении солдата пограничной стражи, уже переправлялись в Германию. Партия эмигрантов, кроме нас двоих, состояла сплошь из евреев, уезжавших вместе с женами и детьми в Америку. Была морозная лунная ночь, под ногами хрустел снег. Наш проводник, солдат, ушел вперед, приказав нам ждать его условного свиста. С четверть часа мы сидели в снегу. Направо и налево мерцали огни кордонов. Наконец, вдали раздался слабый протяжный свист. Евреи вскочили и, как потревоженное стадо, толкая друг друга и падая в снег, побежали по залитой лунным светом дороге. На утро мы ехали в немецких санях по немецкой земле, а через несколько дней были уже в Женеве.

В Женеве я явился к Чернову.

Я сказал ему, что меня удивляет отсутствие Азефа в Петербурге, что, предоставленные собственным силам, мы, очевидно, не можем подготовить покушение на Плеве, что я предпочел бы работать самостоятельно, хотя бы и в менее крупном деле, например, в деле киевского ген[ерал]-губ[ернатора] Клейгельса. Чернов сказал мне, что Азеф уже выехал в Россию, и что он не может дать мне ответа, а советует обратиться к Гоцу, который находится теперь в Ницце. В тот же вечер я выехал в Ниццу. Гоц, хотя и очень больной, был еще на ногах. Он со вниманием выслушал меня и, когда я кончил, сказал:

– Валентин Кузьмич (партийный псевдоним Азефа) не мог выехать раньше, потому что его задержали работы по динамитной технике. Письма до вас не дошли отчасти по вашей вине: вы дали неточный адрес. Я вам советую: поезжайте сейчас же обратно и найдите его.

Я сказал, что не могу ехать на тех же условиях, на каких ехал раньше, что со мной связаны два работавших в Петербурге товарища, из которых один никого, кроме меня, из партийных людей не знает, что я могу опять не встретиться с Азефом, и тогда мое положение без денег, паролей и явок будет не лучше того, в каком я оказался в Петербурге.

Гоц выслушал меня, не прерывая. Потом сказал:

– Я вам дам адреса, пароли и явки. Если вы не встретите Азефа, вы будете все-таки в силах продолжать начатое дело. Но поезжайте сейчас же, сегодня же обратно в Россию.

Я узнал тогда впервые от Гоца, что Блинов не поехал в Россию и что, кроме меня и двух моих товарищей, боевая организация состоит еще из Покотилова и бывших студентов Московского университета: Максимилиана Ильича Швейцера и Егора Сергеевича Сазонова. Швейцер, по партийной кличке «Павел», впоследствии «Леопольд», и Покотил («Алексей»), с динамитом и гремучей ртутью, ожидали приезда Азефа, один в Риге, другой – в Москве. Сазонов («Авель») жил в Твери, изучая извозное ремесло: он должен был стать в Петербурге извозчиком. Ни Швейцера, ни Сазонова я лично не знал, но мне и тогда уже было ясно, что с такими небольшими силами невозможно выследить и убить Плеве, тем более что Швейцер и Покотил не предназначались для наблюдения. Я сказал об этом Гоцу и предложил взять с собой в Россию Каляева и приехавшего со мной рабочего. Гоц подумал минуту:

– Каляева я знаю, – сказал он, – он будет хороший работник. Пусть едет с вами... Другой нам неизвестен: пусть подождет. Мы присмотримся в Женеве к нему, а вы вызовете его, если будет нужно.

Вернувшись в Женеву, я сказал Каляеву, что он едет со мной. Каляев обрадовался чрезвычайно. Он немедленно стал собираться в дорогу, и в тот же день мы выехали в Берлин. У Каляева был русский (еврейский) паспорт, у меня – английский. В Берлине нужно было визировать его у русского консула.

Всю дорогу до Берлина Каляев был радостно оживлен. Не спрашивая меня о положении дел, он подробно говорил о своих планах, о том, как, по его мнению, удобнее и легче убить Плеве. Я сказал ему в разговоре, что ему, вероятно, придется торговать на улице вразнос. Он рассмеялся:

– Что ж ты думаешь, из меня выйдет плохой табачник?

Я посмотрел на его бледное интеллигентное лицо с тонкими чертами, на его скорбные, большие глаза, на худые, нерабочие руки и промолчал. Я не мог знать тогда, что ему не будет соперников в трудной роли уличного торговца.

В Берлине я распрощался с ним. Он поехал через Эйткунен; я – на Александрово. Мы встретились с ним в Москве.

III

В Москве несколько дней прошло в ожидании Азефа. Каляев и я жили в разных гостиницах и встречались изредка и только по вечерам.

В конце января в Москву приехал Азеф. Увидев меня, он сказал:

– Как вы смели уехать из Петербурга?

Я отвечал, что уехал потому, что не было от него известий, и еще потому, что мой паспорт был установлен полицией.

Он нахмурился и сказал:

– Вы все-таки не имели права уехать.

– А вы имели право, сказав, что приедете через три дня, оставаться за границей месяц и больше?

Он молчал!

– Я был занят за границей делами.

– Мне все равно чем, но вы нас бросили в Петербурге.

Он молчал еще.

– Ваша обязанность была ждать меня и следить за Плеве. Вы следили?

Я рассказал ему то, что мы узнали о Плеве.

– Это очень немного. Извольте ехать назад в Петербург.

Я ответил, что для этого только я из-за границы и приехал. Я сказал также, что вместе со мной приехал Каляев, и что еще один товарищ, рабочий, ожидает в Женеве.

Было решено, что Каляев разыщет двух товарищей, прежде работавших со мной в Петербурге, и оба они станут там извозчиками. Мне Азеф поручил увидеться с Покотиловым, который жил тоже в Москве, и со Швейцером, ожидавшим распоряжений в Риге. Решено было также вызвать нового товарища из Женевы, по условию с ним, в Нижний Новгород. После свидания со мной Азеф уехал по общепартийным делам, а я остался в Москве.

Покотиллов жил в гостинице «Париж», на Тверской. Я вызвал его письмом, с просьбой вечером приехать в загородный ресторан «Яр». В «Яре» я с трудом узнал его. Вместо типичного женевского эмигранта, я увидел богатого русского барина с бледным лицом и длинной кудрявой золотистой бородой.

Даже экземы, которою он страдал, не было видно. В этот вечер он рассказал мне свою биографию.

– Знаете, я хотел убить Боголепова, Карпович предупредил меня... Потом – Балмашев... Я сказал, что я больше ждать не могу, что первое покушение – мне. Приезжал в Полтаву Гершуни. Было решено: Оболенского я убью. Я и готовился к этому... Вдруг узнаю, что не я, а Качура... Качура – рабочий, ему отдали предпочтение. Он стрелял, а не я... Вот теперь Плеве. Я не уступлю никому. Первая бомба – мне. Я ждал слишком долго. Я имею на это право.

Он волновался, и на лбу у него от волнения выступали мелкие капли крови: экзема. Он пил вино, но не пьянел и волновался все больше:

– Я совершенно верю в успех. Вы ведь знаете Валентина Кузьмича? Плеве будет бит. Только трудно ждать. Сколько времени я уже в Москве, храню динамит. Невозможно так жить, в ожидании. Я не могу.

В ответ на это я передал ему приказание Азефа ехать с динамитом в прибалтийский курорт Зегевольд и там ждать дальнейших распоряжений.

На другой день он уехал. Уехал и я – в Ригу, отыскивать Швейцера. В Ригу должен был приехать и Каляев – сообщить о результатах своей поездки. Швейцера в Риге уже не было. Каляев же рассказал, что оба товарища им разысканы и согласны, но что, по его мнению, только один Иосиф Мацеевский действительно хочет работать. Игнатий Мацеевский колеблется и

согласился только под влиянием Иосифа. Его наблюдение было верно: Игнатий М. не принял участия в деле Плеве, Иосиф М. же немедленно после свидания с Каляевым приехал в Петербург и устроился извозчиком.

В начале февраля я вернулся в Петербург. Азеф сообщил мне, что Швейцер и Сазонов находятся тоже в Петербурге, что товарищ Мацевский уже знаком с последним, и что на днях и я познакомлюсь с товарищами.

Он предложил мне для этой цели прийти ночью на маскарад Купеческого клуба.

Азеф назначил мне свидание именно на маскараде, как он говорил, из конспиративных соображений. Он требовал всегда точнейшего исполнения всех правил боевой конспирации. Он требовал, чтобы свидания бывали возможно реже и не на частных квартирах, а на улице или в публичных местах: в трактирах, в банях, в театре; чтобы при свиданиях этих принимались все меры предосторожности; чтобы у членов организации не было переписки и сношений с их семьями и друзьями; чтобы образ жизни их и одежда не возбуждали ни в ком подозрения. Очень смелый в своих планах, он был чрезвычайно осторожен в их выполнении.

В назначенный день я был на маскараде. Я видел, как Азеф вошел в зал и поздоровался с невысоким, крепким, изящно одетым молодым человеком, лет двадцати пяти. У молодого человека были сбриты усы, и по внешнему виду он напоминал иностранца. Это был Швейцер, живший по английскому паспорту.

Швейцер сразу, с первых же слов, производил впечатление спокойной и уравновешенной силы. В нем не чувствовалось того восторженного подъема, который был так ярко замечен в Покотилове и Каляеве, но он своей манерой говорить и молчать, неторопливостью своих мнений и своим медлительным спокойствием невольно внушал к себе доверие. В эту первую мою с ним встречу он говорил очень мало и только по делу.

Через несколько дней я впервые увидел Сазонова. Было условлено, что Иосиф Мацевский и Сазонов, оба извозчики, будут ждать меня на углу Большого проспекта и 6-й линии Васильевского острова, причем для того, чтобы я мог узнать Сазонова, последний станет непосредственно за пролеткой Иосифа Мацевского. Еще издали я увидел на козлах Иосифа. У него была щегольская пролетка, сытая лошадь, новая упряжь. Сам он, с завитыми усами и с шапкой набекрень, был очень похож на петербургского щеголя-лихача. Сзади него стоял обыкновенный захудалый Ванька. У этого Ваньки было румяное, веселое лицо и карие, живые и смелые глаза. Его посадка на козлах, грязноватый синий халат и рваная шапка были настолько обычны, что я колебался, не вышло ли случайной ошибки, и действительно ли этот крестьянин – тот «Авель», о котором я слышал от Азефа. Но Иосиф едва заметно улыбнулся мне и кивнул головой. Румяный извозчик смотрел на меня во все глаза и тоже слегка улыбался. Я подошел к нему и сказал условный пароль:

– Извозчик, на Знаменку.

– Такой улицы, барин, нет. Эта улица, барин, в Москве, – ответил Сазонов, смеясь одними глазами.

Мы поехали в Галерную гавань. Лошаденка еле плелась, Сазонов постоянно оборачивался с козел ко мне и весело и легко рассказывал о своей жизни извозчика. От его молодого лица и веселых спокойных слов становилось спокойно и весело на душе. Когда я расстался с ним и за углом скрылась его пролетка, мне захотелось снова увидеть эти смеющиеся глаза и услышать этот уверенный и веселый голос.

Азеф вскоре уехал по своим, как он говорил, общепартийным делам. Покотилов жил в Зегевольде, Каляев ждал в Нижнем товарища, который должен был приехать из Женевы, – Давида Боришанского («Абрам»). Швейцер хранил динамит в Либаве. В Петербурге остались Сазонов, Мацевский и я. Этих сил для наблюдения было мало, так же мало, как в ноябре, когда мы ждали Азефа в Петербурге. Тем не менее, в феврале и в начале марта Мацевскому и Сазонову еще несколько раз удалось видеть Плеве, а главное, удалось установить, что он,

действительно, еженедельно к 12 часам дня ездит с докладом к царю, жившему тогда в Зимнем дворце. Мне казалось, что наблюдение с такими небольшими силами и не может дать в будущем результатов, сколько-нибудь значительных. Поэтому, когда Азеф приехал в Петербург, я настойчиво стал предлагать ему немедленно приступить к покушению. Азеф возражал мне, что сведений собрано слишком мало, что маршрут Плеве в точности неизвестен, и что, поэтому, легко ошибиться. Я настаивал, указывая на возможность устроить покушение на Фонтанке, у самого дома Плеве, чем устранялись и риск ошибки, и необходимость выяснения маршрута. Но Азеф не соглашался со мною, – ему казалось такое выступление опасным: у дома Плеве была наиболее многочисленная охрана. А при неудаче дело в лучшем случае откладывалось на долгое время.

Тогда я предложил Азефу узнать мнение Сазонова и Мацеевского. На двух извозчиках: я в пролетке Мацеевского и Азеф в пролетке Сазонова, – мы поехали далеко за город и в поле устроили совещание. Мацеевский настаивал на немедленном покушении. Он говорил, что раз выезд известен, то нечего больше ждать, либо никогда мы не узнаем более того, что нам известно теперь. Выяснение же маршрута необязательно, раз возможно устроить покушение у самых ворот дома Плеве.

Сазонов высказывался гораздо осторожнее. Он говорил, что не знает Плеве в лицо, что может ошибиться каретой. Он дал свое согласие только тогда, когда Мацеевский предложил быть сигнальщиком и указать ему карету Плеве.

Азеф, по обыкновению, слушал молча. Когда мы кончили говорить, он медленно и, как всегда, как будто бы нехотя, стал возражать. Он приглашал к терпению и осторожности и опять указывал, что неудача может погубить дело. В ответ на его слова я настаивал еще резче. Меня поддержал на этот раз, кроме Мацеевского, еще и Сазонов. Наконец, Азеф, подумав, сказал:

– Хорошо, если вы этого так хотите, попробуем счастья.

Азеф снова уехал из Петербурга. Я съездил в Либаву к Швейцеру и в Нижний к Каляеву. К 18 марта все, в том числе приехавший из Женевы Д. Боришанский, собрались в Петербурге. Только Азеф оставался по партийным делам в провинции.

IV

План покушения состоял в следующем. Около 12 часов дня по четвергам Плеве выезжал из своего дома и ехал по набережной Фонтанки к Неве и по набережной Невы к Зимнему дворцу. Возвращался он или той же дорогой, или по Пантелеймоновской мимо вторых ворот Департамента полиции, к главному подъезду, что на Фонтанке. Предполагалось ждать его на пути. Покотилов с двумя бомбами должен был сделать первое нападение. Он должен был встретить Плеве на набережной Фонтанки около дома Штиглица. Боришанский, тоже с двумя бомбами, занимал место ближе к Неве, у Рыбного переуллка. Сазонов с бомбой под фартуком пролетки становился у подъезда Департамента полиции лицом к Неве. Также лицом к Неве, с другой стороны подъезда, ближе к Пантелеймоновской, стоял Мацеевский. Он должен был снять шапку при приближении кареты Плеве и этим подать знак Сазонову. Наконец, на Цепном мосту, имея в поле зрения всю Пантелеймоновскую, находился Каляев, на виду как Покотилова, так и Сазонова. Его обязанность была дать им знак в случае, если Плеве вернется через Литейный проспект.

Диспозиция была неудачна. Помимо того, что действие происходило у самых ворот дома Плеве, где, кроме конных и пеших городских, было везде на улице, на углах, на Цепном мосту – много агентов охраны, внимание Покотилова разбивалось между ожидаемой каретой Плеве и Каляевым, Сазонова – между Плеве, Каляевым и Мацеевским. Кроме того, в действие вводилось, а следовательно, и подвергалось риску, двое безоружных, непосредственно для покушения ненужных людей, Каляев и Мацеевский. Недостатки диспозиции необходимо вытекали

из недостаточности наблюдения. Незнание маршрута, – возможность проезда Плеве по Литейному и Пантелеймоновской, – заставило поставить на Цепном мосту Каляева, недостаточное же знакомство Сазонова с каретой министра заставило ввести в дело Мацеевского. Именно эти неудобства и предвидел Азеф, не соглашаясь на преждевременное, по его мнению, покушение.

16-го я имел свидание для последних переговоров с Покотиловым и Швейцером. Свидание состоялось на кладбище Александро-Невской лавры, у могилы Чайковского. Швейцер холодно и спокойно обсуждал мельчайшие детали нашего плана. Ему предстояла трудная задача – за ночь он должен был приготовить пять бомб и на утро раздать их метальщикам. Покотилов, как всегда, волновался. Он горячо говорил, что уверен в удаче, как уверен и в том, что именно ему, а не Боришанскому и Сазонову, выпадет честь убить Плеве. Он настаивал также, чтобы Боришанский в случае, если ему придется бросать первую бомбу, бежал не в переулок, а на него, Покотилова. Он говорил, что своими бомбами он сумеет защитить и его, и себя. Во время нашего разговора, на кладбище, на соседней дорожке неожиданно появился пристав с нарядом городских. Между могильных крестов замелькали погоны и сабли. В ту же минуту Покотилов вынул револьвер и быстро, большими шагами пошел навстречу полиции. Швейцер спокойно ждал у могилы, засунув руку в карман, где лежал его револьвер. Я с трудом догнал Покотилова. Он обернулся ко мне и шепнул:

– Уходите с Павлом, я удержу их на несколько минут.

Городовые приближались по боковой аллее. Я схватил Покотилова за руку.

– Что вы делаете? Спрячьте револьвер.

Он хотел мне что-то ответить, но в это время полицейские повернули на другую дорожку и стали скрываться из виду. Очевидно, тревога была не для нас.

Ночь с 17 на 18 марта я провел с Покотиловым. Мы сидели с ним в театре «Варьете» до рассвета и на рассвете пошли гулять на острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный, с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил:

– Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит.

Утром, в 8 часов, я простился с ним, чтобы через два часа встретиться снова. В 10 часов, на 16-й линии Васильевского острова, Швейцер должен был передать снаряды метальщикам. Он должен был подъехать к условленному заранее дому в пролетке Сазонова. Покотилов должен был сесть в пролетку и ехать до Тучкова моста, где, взяв свою бомбу, выйти и уступить место ожидавшему на Тучковом мосту Боришанскому; тот, взяв свою бомбу, должен был выйти вместе со Швейцером, который оставлял в пролетке последний снаряд – для Сазонова. Боришанский, невозмутимый, как всегда, не выражал ни одобрения, ни осуждения нашему плану. Он молча выслушал все подробности диспозиции и аккуратно в назначенный час явился на Тучков мост.

Я видел, как Швейцер подъехал к Покотилову и как Покотилов сел в пролетку Сазонова. Я пошел отыскивать Каляева. Каляев был огорчен.

– Мне не досталось снаряда. Почему Боришанский, а не я?

Я успокаивал его, говоря, что троих метальщиков довольно, что Боришанский с таким же правом мог бы сказать те же слова, если бы не у него, а у Каляева была в руках бомба.

– Я не хочу рисковать меньше других, – сказал Каляев.

Я сказал ему в ответ, что риск всегда одинаков и что в случае ареста он будет судиться вместе со всеми и по той же статье закона. Он промолчал.

В двенадцатом часу я, по условию, прошел в Летний сад и, сев на скамью на дорожке, параллельной Фонтанке, стал ждать. Сазонов, Покотилов, Боришанский, Иосиф Мацеевский и Каляев каждый занял свое место. Так прошло полчаса в ожидании.

Вдруг раздался удар, будто взорвалось что-то. Я невольно поднялся.

На другой стороне Фонтанки было по-прежнему все тихо. Стреляла полуденная пушка в Петропавловской крепости.

В ту же минуту в воротах сада я увидел Покотилова. Он был бледен и быстро направлялся ко мне. В карманах его шубы ясно обозначались бомбы. Он подошел к моей скамье и тяжело опустился на нее.

– Ничего не вышло: Боришанский убежал.

– Кто убежал?

– Боришанский.

– Не может этого быть.

– Я видел сам: убежал.

Мы вышли с Покотилковым из Летнего сада. На Цепном мосту, прислонившись к перилам, высоко подняв голову и не спуская глаз с Пантелеймоновской улицы, стоял Каляев. Он удивленно посмотрел на Покотилова и на меня, но не двинулся с места.

Я и до сих пор ничем иным не могу объяснить благополучного исхода этого первого нашего покушения, как случайной удачей. Каляев настолько бросался в глаза, настолько напряженная его поза и упорная сосредоточенность всей фигуры выделялась из массы, что для меня непонятно, как агенты охраны, которыми был усеян мост и набережная Фонтанки, не обратили на него внимания. Впоследствии он сам говорил, что стоял в полной уверенности, что его арестуют, что не могут не арестовать человека, в течение часа стоящего против дома Плеве и наблюдающего за его подъездом. Но и думая так, он последний ушел со своего поста, когда Сазонов и Боришанский уже отъехали от подъезда.

Только что мы минули с Покотилковым мост, как засуетились городовые и филеры, и от Невы по Фонтанке крупной рысью мимо нас промчалась карета, запряженная вороными конями, с ливрейным лакеем на козлах. В окне кареты мелькнуло спокойное лицо Плеве. Покотиллов схватился за бомбу, но карета была уже далеко и приближалась к Сазонову. Мы замерли, ожидая взрыва. Но на наших глазах карета, обогнув Сазонова, повернула в раскрытые ворота и скрылась. Я вернулся к Каляеву и сказал ему, чтобы он шел на место условленного заранее свидания. Покотиллов подошел к Сазонову и стал его нанимать. Я видел, как Сазонов отрицательно качнул головой. Тогда я подошел к Сазонову:

– Извозчик!

– Занят.

– Извозчик!

– Занят.

Я остановился и посмотрел в лицо Сазонова. Он был очень бледен. Я прошептал:

– Уезжайте скорее.

Но он опять отрицательно качнул головой. Я прошел мимо него и позвал Мацеевского и опять услышал то же самое.

– Занят.

Я обернулся к Цепному мосту: Каляев все еще стоял на мосту. Так ожидали они, уже без всякой надежды, еще полчаса. Неудача Сазонова произошла, благодаря одной из тех случайностей, которых нельзя ни предусмотреть, ни устранить. Как и было условлено, Сазонов стал в двенадцатом часу на свое место, лицом к Неве, так, чтобы видеть Мацеевского и набережную Фонтанки и заранее приготовиться к взрыву. Тяжелый семифунтовый снаряд лежал у него под фартуком, на коленях. Чтобы бросить снаряд, нужно было отстегнуть фартук и поднять бомбу. Это требовало несколько секунд времени. Но, стоя у подъезда Плеве и отказывая нанимавшим его седокам, Сазонов возбудил насмешки других извозчиков. Из их длинного ряда он выделялся тем, что стоял лицом к Неве, тогда как все они стояли лицом в противоположную сторону, к цирку. Эти насмешки, т. е. боязнь обратить на себя внимание, заставили его повернуть лошадь мордую от Невы и стать спиной к Мацеевскому. Таким образом, Плеве, возвращаясь,

был невидим ему и промелькнул мимо него неожиданно быстро. Сазонов схватился за бомбу, но было уже поздно.

Эта первая неудача научила нас многому. Мы поняли, что семь раз примерь и один раз отрежь.

V

Мы условились собраться после покушения на Садовой в ресторане «Северный Полюс». Я встретил еще на улице Боришанского. Я спросил его:

– Послушайте, Абрам, вы убежали?

Он поднял на меня свои большие, светлые глаза и промолчал. Я повторил свой вопрос.

Он ответил:

– Да, я убежал.

– Какое право вы имели бежать?

Боришанский в ответ ничего не сказал. Я долго смотрел на его спокойное, точно каменное, лицо. Наконец, я его спросил:

– Почему же вы убежали?

– Странно... Если за вами следят, что вы будете делать?

– За вами следили?

– Если бы не следили, я бы не убежал.

– Слушайте, – сказал я, – товарищи могут подумать, что вы трус.

Он долго медлил ответом:

– Я не трус. Я должен был убежать. Каждый убежал бы на моем месте... И разве нужно было, чтобы меня без пользы арестовали?

В это время вошел в ресторан Каляев. По его лицу было видно, что он очень взволнован. Иногда он мельком взглядывал на Боришанского. Наконец, он не выдержал:

– Почему вы убежали, Боришанский?

Боришанский посмотрел на него:

– Что бы вы сделали, если бы шпионы вас окружили?

Каляев ничего не ответил. Не могло быть сомнения, что Боришанский говорит правду. Оставаться же с бомбою на глазах у филеров значило губить и себя, и товарищей, и самое дело.

Покушение не удалось. Жить всем членам организации в Петербурге не было цели. Швейцер в тот же день уехал с динамитом обратно в Либаву, Боришанский в Бердичев, Каляев в Киев, Покотилов в Двинск, где должен был ждать известий от нас Азеф. Я остался еще на день в Петербурге и вечером встретился с Сазоновым.

Мы поехали с ним на острова. У взморья я, наконец, решился заговорить.

– Слушайте, почему вы не хотели отъехать от дома Плеве?

Сазонов обернулся с козел ко мне:

– Почему?... я надеялся, может быть, он опять поедет.

– Но вы ведь знали, что этого не будет?

– Эх... Ну, конечно...

Он опустил голову. Через несколько минут он снова заговорил:

– Стою я, бомбу на коленях держу... Жду... Знаете, ничего... только ноги похолодели...

Он махнул рукой. Потом вдруг быстро обернулся ко мне:

– Это я виноват.

– В чем?

– Да вот... в неудаче.

Конечно, Сазонов был виноват менее всех, и я с гораздо большим правом, чем он, могу приписать неудачу 18 марта себе.

В Двинске Азефа не было. На почте не было условных от него телеграмм до востребования. На вокзале меня встретил Покотилов. Его первые слова были:

- Валентин арестован.
- Как арестован?
- Его нет. Телеграмм тоже нет. Что делать?

Азеф только впоследствии объяснил, что в Двинске заметил за собой наблюдение и, скрывая следы, три недели ездил по России. Тогда его отсутствие в такой важный момент мы могли объяснить только его арестом.

Покотилов, волнуясь, с мелкими каплями крови на лбу, говорил:

– Валентин арестован. Покушение не удалось. Но Плеве будет убит... Плеве непременно будет убит... Не правда ли, Веньямин?

Я молчал. Мне думалось: потеря в решительную минуту Азефа лишала организацию единственного опытного террориста, – более того: лишала ее руководителя. Руководительство переходило ко мне, а я не чувствовал себя подготовленным к нему. Я попросил Покотилова съездить к Швейцеру и привезти его в Киев, куда должен был приехать и Боришанский. Я хотел посоветоваться с товарищами.

Я считал, что сил организации, с потерей Азефа, было недостаточно, чтобы убить Плеве. Мне казалось поэтому разумным попытаться сперва убить Клейгельса и, убив его, уже потом перейти к покушению на Плеве. Приготовления к убийству Клейгельса должны были дать недостающий нам опыт и помочь ориентироваться в почти незнакомой технике боевого дела. Я сообщил мое мнение товарищам. Каляев и Швейцер согласились со мной. Покотилов стал возражать:

– Мы взялись за дело Плеве и не можем оставить его. Мы обязаны убить Плеве. Сил довольно. В крайнем случае, мы взорвем весь Департамент полиции. Я все беру на себя.

Боришанский молчал.

– А ваше мнение? – спросил я его.

– Я поеду с Покотиловым, – отвечал он.

Было решено наихудшее: был принят компромисс. Швейцер, Каляев и я остались в Киеве для покушения на Клейгельса, Боришанский и Покотилов уехали в Петербург, чтобы вместе с Сазоновым и Иосифом Мацеевским попытаться убить Плеве.

Их план состоял в следующем: в четверг, 25 марта, и в четверг, 1 апреля, – день, когда Плеве ездил к царю, – они должны были утром, в 11.30, выйти с бомбами навстречу министру, от Зимнего дворца по набережным Невы и Фонтанки к зданию Департамента полиции. Так как маршрут Плеве и время его выезда были известны лишь приблизительно, надежды на удачное покушение было мало. Бомбы должен был приготовить Покотилов. Сазонов и Мацеевский в покушении принимали только косвенное участие.

Наш план был прост: Клейгельс, не скрываясь, ездил по городу. Каляев и я знали его в лицо. Генерал-губернаторский дом был на Институтской улице, и куда бы Клейгельс ни ездил, он не мог миновать Крещатик. Бомбы должен был приготовить Швейцер, честь же первого нападения принадлежала Каляеву.

Такое разделение ослабляло организацию, оно уменьшало надежду на успех как того, так и другого покушения. Я не имел настолько авторитета, чтобы настоять на своем плане, но я не мог признать плана Покотилова разумным. Организация разделилась на две почти равные части.

24 марта Покотилов приготовил две бомбы и 25-го он и Боришанский вышли от Зимнего навстречу Плеве, но Плеве не встретили. Покотилов вынул из бомб запалы и уехал из Петербурга в Двинск. 29 марта он опять отправился в Петербург и по дороге в вагоне опять случайно встретился с Азефом. Азеф выслушал его доклад о положении организации и остался недово-

лен. Он пробовал отговаривать Покотилова от его плана, но Покотиллов стоял на своем. Тогда Азеф, простившись с ним, поехал в Киев отыскивать нас.

31 марта, ночью, в Северной гостинице, готовя во второй раз снаряды, Покотиллов погиб от взрыва. Наши бомбы имели химический запал: они были снабжены двумя крестообразно помещенными трубками с зажигательными и детонаторными приборами. Первые состояли из наполненных серной кислотой стеклянных трубок с баллонами и надетыми на них свинцовыми грузами. Эти грузы при падении снаряда в любом положении ломали стеклянные трубки; серная кислота, выливаясь, воспламеняла смесь бертолетовой соли с сахаром. Воспламенение же этого состава производило сперва взрыв гремучей ртути, а потом и динамита, наполнившего снаряд. Неустрашимая опасность при зарядке заключалась в том, что стекло трубки могло легко сломаться в руках.

VI

О смерти Покотилова мы узнали в Киеве из газет. Для нас эта смерть явилась еще более тяжелой неожиданностью, чем неудача 18 марта.

Из нашего запаса динамита, после смерти Покотилова, осталась едва одна четверть. Она хранилась у Швейцера и из нее можно было приготовить всего одну бомбу. Одной бомбы, по нашему мнению, было достаточно для убийства Клейгельса, но нам казалось невозможным убить Плеве с помощью всего одного метальщика. Я посоветовался со Швейцером и Каляевым, и мы решили ликвидировать дело Плеве и предложить Мацевскому, Боришанскому и Сазонову уехать за границу. Мы, втроем, должны были остаться в Киеве для покушения на Клейгельса.

Швейцер передал оставшийся динамит Каляеву и уехал в Петербург, чтобы сообщить Мацевскому и Сазонову о таком нашем решении; Боришанский после 31 марта, по собственной инициативе, приехал в Киев. Почти одновременно с ним неожиданно приехал в Киев и Азеф. Встретив меня в квартире ***, он сказал:

– Что вы затеяли? К чему это покушение на Клейгельса? И почему вы не в Петербурге? Какое право имеете вы своей властью изменять решения центрального комитета?

Я ответил Азефу, что мы были уверены в его аресте, ибо только арестом могли объяснить отсутствие его после неудачи 18 марта в Двинске; что без его руководства мне казалось невозможным убить Плеве; что, ввиду этой невозможности, я решил убить Клейгельса; что я был против поездки Покотилова в Петербург и считал его план покушения на Плеве несостоятельным и, наконец, – и это самое главное, – что динамита у нас осталось всего на одну бомбу. Я хотел прибавить также, что неудача 18 марта и смерть Покотилова породили в нас неуверенность в своих силах, и что в таком состоянии недоверия к себе едва ли было возможно довести до конца общеимперское дело. Но, посмотрев на Азефа, я не сказал ему этого.

Азеф слушал, по своему обыкновению, молча. По его лицу я видел, что он очень недоволен и нашим решением, и моими объяснениями. Наконец, он сказал:

– За мной следили. Я должен был уходить от шпионов. Вы могли понять это и не торопиться с предположениями о моем аресте. Кроме того, если бы я и был арестован, вы не имели права ликвидировать покушение на Плеве.

Я ответил ему на это, что ни у кого из нас нет террористического опыта; что впредь мы, вероятно, сумеем быть хладнокровнее и не придавать решающего значения неудачам, но что нет ничего удивительного, если покушение 18 марта, предполагаемый его арест и смерть Покотилова заставили нас изменить первоначально принятый план.

Азеф нахмурился еще больше и сказал:

– Люди учатся на делах. Ни у кого не бывает сразу нужного опыта. Из этого, однако, не следует, что нужно делать только то, что легко. Какой смысл в покушении на Клейгельса...

Я сказал, что боевая организация молчит со времени уфимского дела, т. е. уже около года, что с арестом Гершуни правительство считает ее разбитой, и что если в партии нет сил для центрального террора, то необходимо делать, по крайней мере, террор местный, как его делал Гершуни в Харькове и Уфе.

– Что вы мне говорите? Как нет сил для убийства Плеве? Смерть Покотилова? Но вы должны быть готовы ко всяким несчастьям. Вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, – их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать. Но бросать дело нельзя никогда. Плеве во всяком случае будет убит. Если мы его не убьем, – его не убьет никто. Пусть «Поэт» (Каляев) едет в Петербург и велит Мацеевскому и «Авелю» (Сазонову) оставаться на прежних местах. «Павел» (Швейцер) изготовит динамит, а вы с Боришанским поедете в Петербург на работу. Кроме того, мы найдем еще людей.

В тот же день из Петербурга вернулся Швейцер. Он сообщил, что Мацеевский и Сазонов уже продали лошадей и пролетки, и что первый уехал к себе на родину, а второй через Сувалки направляется за границу. Каляев немедленно поехал в Сувалки, чтобы остановить Сазонова на дороге и предложить ему ехать не за границу, а в Харьков, где должны были собраться для совещания почти все члены организации. Швейцер получил от Азефа адрес партийного инженера. С помощью этого инженера он должен был в земской лаборатории изготовить пуд динамита. Задача ему предстояла трудная. Необходимо было незаметно приобрести нужные материалы; необходимо было соблюдать строжайшую конспирацию; наконец, необходимо было мириться с неустраняемыми недостатками неприспособленной к изготовлению динамита лаборатории. Швейцер справился со всеми затруднениями. По подложному открытому листу на имя уполномоченного земства он закупил материал, и один, скорее с ведома, чем при помощи вышеупомянутого инженера, приготовил необходимое нам количество динамита. На этой работе он едва не погиб и спасся только благодаря своему хладнокровию. Размешивая желатин, приготовленный из русских, нечистых химических материалов, он заметил в нем признаки разложения, т. е. признаки моментального и неизбежного взрыва. Он схватил стоявший рядом кувшин с водой и второпях стал лить прямо с руки, с высоты нескольких вершков от желатина. Струя воды разбрызгала взрывчатую массу, желатинные брызги попали ему на всю правую сторону тела и взорвались на нем. Он получил несколько тяжких ожогов, но дела не бросил и, лишь изготовив нужное количество динамита, уехал в Москву. Там он пролежал несколько дней в больнице. Динамит он привез в Петербург в июне.

Тогда же в Киеве я познакомился с Дорой Бриллиант. Дора Владимировна Бриллиант была рекомендована для боевой работы Покотиловым, который близко знал ее еще по Полтаве.

Дору Бриллиант я отыскал на Жилианской улице, в студенческой комнате. Она с головой ушла в местные комитетские дела, и комната ее была полна ежеминутно приходившими и уходившими по конспиративным делам товарищами. Маленького роста, с черными волосами и громадными, тоже черными, глазами, Дора Бриллиант с первой же встречи показалась мне человеком, фанатически преданным революции. Она давно мечтала переменить род своей деятельности и с комитетской работы перейти на боевую. Все ее поведение, сквозившее в каждом слове желание работать в терроре убедили меня, что в ее лице организация приобретает ценного и преданного работника.

Переговорив с Бриллиант, я уехал в Харьков. Туда же приехали Азеф, Сазонов и Каляев. В Харькове я увидел впервые Сазонова не на козлах и не в извозничьем халате. Он был выше среднего роста, с румяным, открытым и веселым лицом. Узнав от Швейцера, что решено ликвидировать дело и что ему предложено ехать за границу, он чрезвычайно огорчился: такое предложение равнялось в его глазах приказанию оставить поле сражения. Тем не менее, подчиняясь дисциплине организации, он продал лошадь и пролетку и поехал в Сувалки. В поезде между Сувалками и Вильно его встретил Каляев. К своей радости Сазонов узнал от него, что,

вместо Женева, ему предложено ехать в Харьков. Здесь, в Харькове, он близко сошелся с Каляевым, хотя и ему Каляев на первый взгляд показался странным.

Каляев любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только те, кто отдает за нее жизнь. Но, прирожденный поэт, он любил искусство. Когда не было революционных совещаний и не решались практические дела, он подолгу и с увлечением говорил о литературе. Говорил он с легким польским акцентом, но образно и ярко. Имена Брюсова, Бальмонта, Блока, чуждые тогда революционерам, были для него родными. Он не мог понять ни равнодушия к их литературным исканиям, ни тем менее отрицательного к ним отношения: для него они были революционерами в искусстве. Он горячо спорил в защиту «новой» поэзии и возражал еще горячее, когда при нем указывалось на ее якобы реакционный характер. Для людей, знавших его очень близко, его любовь к искусству и революции освещалась одним и тем же огнем, – несознательным, робким, но глубоким и сильным религиозным чувством. К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву.

Сазонов был социалист-революционер, человек, прошедший школу Михайловского и Лаврова, истый сын народовольцев, фанатик революции, ничего не видевший и не признававший кроме нее. В этой страстной вере в народ и в глубокой к нему любви и была его сила. Неудивительно поэтому, что вдохновенные слова Каляева об искусстве, его любовь к слову, религиозное его отношение к террору показались Сазонову при первых встречах странными и чужими, не гармонирующими с образом террориста и революционера. Но Сазонов был чуток. Он почувствовал за широтою Каляева силу, за его вдохновенными словами – горячую веру, за его любовью к жизни – готовность пожертвовать этой жизнью в любую минуту, более того, – страстное желание такой жертвы. И все-таки в первый из наших харьковских дней Сазонов, встретив меня в Университетском саду, подошел ко мне с такими словами:

– Вы хорошо знаете «Поэта»? Какой он странный.

– Чем же странный?

– Да он, действительно, скорее поэт, чем революционер.

Сазонов смутился. Может быть, ему показалось, что в его словах было косвенное осуждение Каляева. Я же ни до, ни после, никогда не слыхал, чтобы он осуждал кого-либо.

– Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое главное... А теперь вижу: нужна «Народная Воля», нужно все силы напирать на террор, тогда победим. Вот и «Поэт» думает так.

Каляев действительно думал так. Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. Он психически не мог, не ломая себя, заниматься пропагандой и агитацией, хотя любил и понимал рабочую массу. Он мечтал о терроре будущего, о его решающем влиянии на революцию.

– Знаешь, – говорил он мне в Харькове, – я бы хотел дожить, чтобы видеть... Вот, смотри – Македония. Там террор массовый, там каждый революционер – террорист. А у нас? Пять, шесть человек и обчелся... Остальные в мирной работе. Но разве с.-р. может работать мирно? Ведь с.-р. без бомбы уже не с.-р. И разве можно говорить о терроре, не участвуя в нем?... О, я знаю: по всей России разгорится пожар. Будет и у нас своя Македония. Крестьянин возьмется за бомбы. И тогда революция...

В Университетском саду происходили все наши совещания. Азеф предложил следующий план. Мацеевский, Каляев и убивший в 1903 г. уфимского губернатора Богдановича Егор Олимпиевич Дулебов, нам тогда еще незнакомый, должны были наблюдать за Плеве на улице: Каляев и один вновь принятый товарищ – как папиросники. Дулебов и Иос. Мацеевский – в качестве извозчиков. Я должен был нанять богатую квартиру в Петербурге с женой – Дорой Бриллиант и прислугой: лакеем – Сазоновым и кухаркой – одной старой революционеркой, П.С.Ивановской. Цель этой квартиры была двоякая. Во-первых, предполагалось, что Сазо-

нов-лакей и Ивановская-кухарка могут быть полезны для наблюдения, и, во-вторых, я должен был приобрести автомобиль, необходимый, по мнению Азефа, для нападения на Плеве. Учиться искусству шофера должен был Боришанский.

Я усиленно возражал Азефу против покупки автомобиля. Я признавал значение конспиративной квартиры и для наблюдения, и для хранения снарядов, но я не видел цели в приобретении автомобиля. Мне казалось, что пешее нападение на Плеве, при многих метальщиках, гарантирует полный успех, и что, наоборот, автомобиль может скорее обратить на себя внимание полиции. Азеф не очень настаивал на своем плане, но все-таки предложил мне нанять квартиру и устроиться в Петербурге.

Сил организации было больше, чем когда бы то ни было. Потеря Покотилова возмещалась новыми членами. Кроме того, прошедшие неудачи, не устраняя, конечно, возможности новых, обеспечивали от повторения грубых ошибок. Настойчивость Азефа, его спокойствие и уверенность подняли дух организации, и мне было странно, как мог я решиться ликвидировать дело Плеве и предпринять провинциальное, не имеющее политического значения, покушение на Клейгельса. Не преувеличивая, можно сказать, что Азеф возродил организацию, мы приступили к делу с верой и решимостью во что бы то ни стало убить Плеве.

Когда план был обсужден нами и принят, и люди распределены, Азеф уехал за Дулебовым, а также по делам организовавшегося тогда под его руководством центрального комитета. Сазонов и Каляев уехали в Петербург. Я остался в Харькове ожидать Бриллиант.

Из Харькова я с Дорой Бриллиант отправился в Москву. В Москве я должен был встретиться с Азефом и Дулебовым. Увидев меня, Азеф сказал:

– «Петр» (Дулебов) уже здесь. У него с собою шесть небольших бомб македонского образца. Возьмите их у него и отдайте на хранение в несгораемый ящик в какой-нибудь банк. «Петр» живет на Маросейке, в номерах, зайдите завтра к нему.

Я зашел к Дулебову и увидел перед собою небольшого роста крепкого рабочего, с открытым лицом и задумчивыми глазами. Он передал мне коробку с бомбами и показал мне способ их заряжения.

В тот же день я нанял на имя Адольфа Томашевича несгораемый ящик в банкирском доме бр. Джамгаровых и отвез туда бомбы. Впоследствии квитанция от этого ящика была найдена при аресте Татьяны Леонтьевой, и полиция тщетно отыскивала нанимателя. Бомбы эти были конфискованы в мае 1903 года.

Через несколько дней мы все уехали из Москвы: Азеф по общепартийным делам на Волгу, Бриллиант, Дулебов и я – в Петербург.

Дулебов купил пролетку и лошадь и стал извозчиком, а я остановился вместе с Бриллиант в гостинице «Франция» на Морской, и прежде всего пошел отыскивать Ивановскую.

Ивановская жила на пятом этаже, в громадном доме на Обводном канале. Она снимала угол в рабочем семействе под именем, если не ошибаюсь, Дарьи Кирилловой. Подымаясь по лестнице к ней, я встретил какую-то старуху в платке. Старуха была так похожа на угловую жилицу, так все, от головного платка до сапог, было типично, что мне и в голову не пришло, что это могла быть сама Ивановская. Я остановил старуху и спросил:

– А где, тетка, здесь живет Дарья Кириллова?

– Да это я и есть, батюшка, – отвечала она.

Я все еще не верил. Выговор и слова были чисто народные. Я думал, что случайно встретил однофамилицу или сам забыл имя. Ивановская, видя мое замешательство, улыбнулась:

– Я и есть... Она самая... Давайте скорее поговорим...

Мы тут же на лестнице условились, как нам впоследствии отыскать друг друга. В тот же день я, по объявлению из «Нового Времени», нашел меблированную квартиру.

VII

Я снял квартиру на улице Жуковского, д. № 31, кв. 1, у хозяйки-немки. Я играл роль богатого англичанина, Дора Бриллиант – бывшей певицы из «Буффа». На вопрос о моих занятиях я сказал, что я представитель большой английской велосипедной фирмы. Впоследствии поверившая вполне нам хозяйка не раз приходила в мое отсутствие к Доре и начинала ее убеждать уйти от меня на другое место, которое хозяйка ей уже подыскала. Она жалела Дору, спрашивала ее, сколько денег я положил на ее имя в банк, и удивлялась, что не видит на ней драгоценностей. Дора отвечала, что она живет со мною не из-за денег, а по любви. Такие визиты были довольно часты.

Живя в этой квартире, я близко сошелся с Бриллиант, Ивановской и Сазоновым, и узнал их. Молчаливая, скромная и застенчивая Дора жила только одним – своей верой в террор. Любя революцию, мучаясь ее неудачами, признавая необходимость убийства Плеве, она вместе с тем боялась этого убийства. Она не могла примириться с кровью, ей было легче умереть, чем убить. И все-таки ее неизменная просьба была – дать ей бомбу и позволить быть одним из метальщиков. Ключ к этой загадке, по моему мнению, заключается в том, что она, во-первых, не могла отделить себя от товарищей, взять на свою долю, как ей казалось, наиболее легкое, оставляя им наиболее трудное, и, во-вторых, в том, что она считала своим долгом переступить тот порог, где начинается непосредственное участие в деле: террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всею той жертвой, которую приносит террорист. Эта дисгармония между сознанием и чувством глубоко женственной чертой ложилась на ее характер. Вопросы программы ее не интересовали. Быть может, из своей комитетской деятельности она вышла с известной степенью разочарования. Ее дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза ее оставались строгими и печальными. Террор для нее олицетворял революцию, и весь мир был замкнут в боевой организации. Быть может, смерть Покотилова, ее товарища и друга, положила свою печать на ее и без того опечаленную душу.

Сазонов был молод, здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой молодой жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким, любящим сердцем, он своей жизнерадостностью только еще больше оттенял тихую грусть Доры Бриллиант. Он верил в победу и ждал ее. Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о «не убий».

Ивановская прожила свою тяжелую жизнь в тюрьмах и ссылке. На ее бледном, старческом, морщинистом лице светились ясные, добрые материнские глаза. Все члены организации были как бы ее родными детьми. Она любила всех одинаково, ровной и тихой, теплой любовью. Она не говорила ласковых слов, не утешала, не ободряла, не загадывала об успехе или неудаче, но каждый, кто был около нее, чувствовал этот неиссякаемый свет большой и нежной любви. Тихо и незаметно делала она свое конспиративное дело и делала артистически, несмотря на старость своих лет и на свои болезни. Сазонов и Дора Бриллиант были ей одинаково родными и близкими.

Конспиративная сторона нашей жизни была, по настоянию Азефа, разработана во всех ее мельчайших подробностях. Ивановская, в качестве кухарки, завела дружбу с дворничихой, и по утрам старший дворник пил у нас кофе на кухне. Сазонов был своим человеком в швейцарской. Он невольно знал все сплетни и все разговоры, которые ходили по дому. Я имел вид делового человека, Дора – певицы.

Каждый день утром я получал через швейцара почту – большей частью каталоги разных машин, которые я выписывал, как «представитель торговой фирмы», из Англии, Франции и Германии. Затем я уходил на «службу» – бродил по городу с надеждой встретить Плеве, и, действительно, часто встречал его. Днем барыня-Дора, с громадным пером на шляпе, в сопровождении лакея Сазонова шла в город за покупками. Вечером я и Дора часто уезжали из дому, и прислуга, освободившись, тоже уходила гулять, – следить за Плеве.

Регулярный образ жизни и хорошие «на-чай» создали нам в доме репутацию «первых жильцов». Мы были осведомлены о всех слухах через Сазонова. Непьющий и грамотный, на хорошем жалованьи, он был завидным женихом для горничных всех квартир, был другом швейцара и на лучшем счету у старшего дворника. Таким образом, мы жили, не возбуждая ни в ком подозрений, хотя часто виделись с Мацеевским, Каляевым и Дулебовым.

В конце мая в Петербург приехал Азеф. Я встретился с ним в театре «Аквариум». Первый вопрос его был:

- Купили автомобиль?
- Нет.
- Почему?

Я опять повторил ему свои соображения. Я доказывал, что не стоит тратить несколько тысяч рублей на то, без чего мы можем легко обойтись. Он помолчал:

- А все-таки вы должны были купить.

Оказалось, что Боришанский, живший в *** с целью изучить ремесло шофера, не научился ничему. Таким образом, идея автомобиля сама собой отпадала.

Азеф вечером, незаметно от дворника и швейцара, прошел к нам в квартиру и оставался у нас, не появляясь на улице, дней десять.

Во время его пребывания у нас случился следующий эпизод.

Уже несколько дней мы замечали, что на улице Жуковского, около нашего дома, ходят филеры. Мы решили, что их привел за собой Азеф. Если бы это было так, то квартира наша была накануне ареста. Между тем в поведении дворника и швейцара не было заметно ничего подозрительного. Мы терялись в догадках, тем более что наблюдение на улице было открытое: из наших окон мы не раз видели несколько наблюдающих за воротами нашего дома филеров. Наконец, это наблюдение разъяснилось само собой.

Однажды вечером Сазонов стоял в воротах вместе с дворником и швейцаром и, по обыкновению, слушал их сплетни о жильцах. В разговоре дворник обратился к нему.

- А твой барин чем занимается?
- Да кто его знает. Все у него на столе книжки с машинами.
- Инженер, что ли?
- Каталоги, значит. Ну, значит, от фирмы какой.

В это время к воротам подъехал извозчик. С извозчика сошел адвокат В.В. Беренштам. Он прошел во двор, и вслед за ним в ворота юркнул филер. К нему подбежали швейцар и дворник. Сазонов тоже хотел подойти, но швейцар замахал на него руками.

Не было сомнения, Беренштам привел за собой филеров. Но это еще не значило, что предшествовавшее наблюдение было не за нашей квартирой. Вскоре, однако, выяснилась его причина: на одной лестнице с нами, дверь в дверь по черному ходу, жил адвокат Трандафилов. К нему и ходил Беренштам. Прислуга Трандафилова рассказала Сазонову, что у барина «книжки», и ходят к нему «студенты». Очевидно, следили не за нами, а за Трандафиловым. Об этом мы дали знать петербургскому комитету, но был ли предупрежден Трандафилов, – мне неизвестно.

Между тем наше наблюдение шло своим путем. Мацеевский, Дулебов и Каляев постоянно встречали на улице Плеве. Они до тонкости изучили внешний вид его выездов и могли отличить его карету за сто шагов. Особенно много сведений было у Каляева. Он жил в углу, на

краю города, в комнате, где, кроме него, ютилось еще пять человек, и вел образ жизни, до тонкости совпадающий с образом жизни таких же, как и он, торговцев в разнос. Он не позволял себе ни малейших отклонений: вставал в шесть часов и был на улице с восьми утра до поздней ночи. У хозяев он скоро приобрел репутацию набожного, трезвого и деловитого человека. Им, конечно, и в голову не приходило заподозрить в нем революционера. Плеве жил тогда на даче, на Аптекарском острове, и по четвергам выезжал с утренним поездом к царю, в Царское Село. Главное внимание при наблюдении и было сосредоточено на этой его поездке и еще на поездке в Мариинский дворец, на заседания комитета министров, куда Плеве ездил по вторникам. Все члены организации, т. е. Мацеевский, Каляев, Дулебов, вновь приехавший Боришанский и очень часто кто-либо из нас, – Дора, Ивановская, Сазонов или я, – наблюдали в эти дни. Но Каляев не ограничивался только этим совместным и планомерным наблюдением: у него была своя теория выездов Плеве, и ежедневно, выходя торговать на улицу, он ставил себе задачу встретить карету министра. По мельчайшим признакам на улице: по количеству охраны, по внешнему виду наружной полиции – приставов и околотовчных надзирателей, – по тому напряженному ожиданию, которое чувствовалось при приближении министерской кареты, Каляев безошибочно заключал, проехал ли Плеве по этой улице, или еще проедет. С лотком за плечами, на котором часто менялся товар, – папиросы, яблоки, почтовая бумага, карандаши, – Каляев бродил по всем улицам, где, по его мнению, мог ездить Плеве. Редкий день проходил без того, чтобы он не встретил его карету. Описывая ее, он давал не только самое точное описание масти и примет лошадей, наружности кучера и чинов охраны, но и деталей самой кареты. В его устах детали эти принимали характер выпуклых признаков. Он знал не только высоту и ширину кареты, ее цвет и цвет ее колес, но и подробно описывал подножку, ручку дверец, вожжи, фонари, козлы, оси, оконные стекла. Когда царь переехал в Петергоф и Плеве стал ездить вместо Царскосельского вокзала на Балтийский, Каляев первый установил его маршрут и отклонения от этого маршрута. Кроме того, он знал в лицо министерских филеров и безошибочно отличал их в уличной толпе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.